

– Кто у нас сейчас? – спросил Илья, когда они вошли в лифт.

– «Десантник», – сказал Глеб и, сообразив, что начинающему фельдшеру надо расшифровать, добавил: – Выпал из окна, с седьмого этажа. Мужчина, примерно сорок лет.

– А что, наши услуги ему ещё могут понадобиться?! – изумлённо спросил Илья.

– Ну, если он был трезвый, то это уже, скорее всего, труп. А если пьян и упал в снег, то мы можем и пригодиться!

Они вышли на улицу. Илья молча переваривал информацию.

– А что, пьяными тоже мы должны заниматься? – спросил он, наконец.

– К сожалению, – вздохнув, сказал Глеб. – И уголовная ответственность за них такая же: не дай бог, случится с ним что-нибудь в твоём присутствии – не расхлебашь!

Они подошли к «рафику», и шофёр завёл мотор.

– Матвейч! – сказал Глеб. – Новоакадемическая, 23. Квартиру на месте узнаем – «десантник»!

Глеб сел вместе с Ильёй, сзади: с тех пор, как однажды он ездил по вызову к месту аварии «скорой помощи», на которой разбился знакомый врач, в кабину он больше не садился. Матвейч тогда объяснил ему, что в аварийной ситуации шофёр инстинктивно «уводит» из опасной зоны свою сторону, подставляя под удар правую, где сидит врач или медсестра.

Машина стала петлять – видимо, они подъезжали к месту. Вскоре «рафик» остановился, и они вышли у подъезда четырнадцатизэтажной башни; немного дальше, в снегу, среди кустов, стояли люди.

Глеб с Ильёй быстро подошли к ним, протиснулись вперёд сквозь негустой ряд стоявших и о чём-то споривших людей и увидели, что в снегу, ближе к дому, – довольно большая яма, от которой вдоль стены в сторону подъезда вели глубокие следы. Увидев людей в белых халатах, все умолкли.

– Что случилось? – спросил Глеб.

Стоявший рядом с ним мужчина в телогрейке, похожий на сантехника, повернулся к Глебу и сказал:

– Да это Витька Фомичёв, из 137-ой квартиры, – из окна вывалился!

– А где же он? – спросил Глеб, подумав: «Шок! Пошёл домой и где-нибудь свалился!»

– Да в магазин пошёл! – ответил сантехник.

– В какой ещё магазин?! – невольно вырвалось у Глеба. – Хороши шутки, нечего сказать!

– А чего мне шутить? – обиделся сантехник. – Вон за углом «Продукты», там винный отдел есть – туда он и пошёл! – он протиснулся на тротуар и исчез.

«Черт-те что! – подумал Глеб. – Что же нам теперь, в магазин, что ли, за ним ехать?!» – и тут же понял, что другого выхода нет.

– Кто его знает в лицо? – спросил он, и какой-то мальчишка рванулся к нему из кустов.

– Я знаю, дяденька врач! Мы на одном этаже живём!

Они пошли к машине.

– Матвейч, тебе пацан дорогу покажет, как к магазину подъехать, наш больной туда удрал! – сказал он, подсаживая мальчишку в кабину, и полез за Ильей в «рафик».

Вход в винный закуток был отдельный, за вином, как это обычно бывает перед закрытием, стоял здоровенный хвост, едва не вылезавший на улицу.

– Вот он! – радостно сказал мальчишка, показывая на невысокого русого мужчину без пальто и без шапки, стоявшего уже недалеко от продавщицы. – Виктор Иванович, а за вами врач приехал!

– Ы?.. – качнувшись в их сторону, спросил Виктор Иванович.

– Вы ведь из окна выпали? – спросил Глеб, внимательно глядясь в Фомичёва и пытаясь понять, что это – шок или просто сильное опьянение.

Очередь, как по сигналу, замолчала, все, в том числе и продавщица, стали прислушиваться к разговору.

– Я... не вы... – Фомичёв икнул, – не вы... не выпадал!..

– Вам надо немедленно лечь! – резко сказал Глеб, уже сообразив, что Фомичёв совершенно пьян, и сильно разозлившись. – Идёмте, у нас здесь машина, мы отвезём вас домой!

– Мне домой... никак нельзя... без бутылки!.. – сказал Фомичёв. – Я Тоньке... обещал... а магазин закроют!.. – он, медленно покачиваясь, обернулся к стоявшим сзади: – Правильно я говорю?..

Очередь сочувственно загудела:

– Пятнадцать минут осталось! Дайте ему взять, а то и правда магазин закроют!

– Пропустите его без очереди, раз за ним врач приехал!

Продавщица, рыхлая блондинка с ярко накрашенными губами, протянула руку и дернула Фомичёва за рукав:

– Ну, давай отпущу, болезный!

Фомичёв снова повернулся к прилавку, неверным движением полез в карман пиджака, порывлся там и достал деньги, продавщица

подала ему бутылку и дала сдачу. Теми же окольными движениями засунув сдачу в один, а бутылку – в другой карман пиджака, Фомичёв нетвёрдой походкой пошёл к выходу. К дому они ехали молча, лишь Фомичёв изредка икал. Злость у Глеба постепенно проходила.

У своей квартиры Фомичёв позвонил. Им долго не открывали, затем послышалась какая-то возня, щёлкнул замок, и дверь распахнулась. Держась за ручку и покачиваясь, женщина лет, по внешнему виду, пятидесяти пяти, в халате и домашних тапочках на босу ногу, со спутанными, неопределённого цвета волосами и бессмысленной улыбкой, проговорила:

– Принёс... касатик!..

Увидев людей в белых халатах, входивших в квартиру следом за Фомичёвым, она охнула и, закрывая за ними дверь, сказала:

– А мы... не нарушаем!.. Доктор... мы... не нарушаем!..

Они прошли за Фомичёвым в комнату. Глеба поразила её странная пустота, и, оглядевшись, он понял, откуда это ощущение: мебель в комнате была только самая необходимая – стол, три стула, здоровенный матрас, на котором валялись одеяла и подушки в белье не первой свежести, небольшой телевизор на старенькой тумбочке. На окнах не было даже занавесок.

На круглом деревянном столе без скатерти в художественном беспорядке, напоминавшем натюрморты Петрова-Водкина, валялись хлебные корки, огрызки солёных огурцов и селёдочные головы, пара вилок и ложка и стояли грязные тарелки и пустые бутылки и стаканы.

– Мне надо осмотреть вас! – строго сказал Глеб. – Снимите пиджак и рубашку.

Не забыв вытащить бутылку и поставить её на стол, Фомичёв стал раздеваться. Время от времени он икал и пытался что-то произнести, но каждый раз махал рукой и умолкал. Глеб велел ему приподнять майку и быстро осмотрел его: нигде не было видно не гематом, ни внешних повреждений, не провоцировалось никакой болезненности; он прощупал ему голову и, велел лечь, пропальпировал живот – всё было в полном порядке. Ноги можно было бы и не осматривать – маловероятно, чтобы было какое-то серьёзное повреждение, с которым Фомичёв столько времени пробыл на ногах, однако он был так анестезирован спиртным, что Глеб решил не рисковать и велел ему снять ботинки и брюки. Ноги были целы, и здесь тоже не было ни синяков, ни царапин.

Глеб сел за стол, взял у Ильи карточку, в которой тот уже заполнил всё, что мог, и стал записывать результаты осмотра.

– Сколько лет? – спросил он у Фомичёва.

– Сорок... два!.. – произнес тот, натянув одну штанину и прицеливаясь в другую.

Женщина, всё это время с блаженной улыбкой стоявшая за его стулом, сказала:

– У него... день рождения... был... месяц назад!..

– А вы кем ему приходитесь? – любопытствовал Глеб.

– Жена!.. – улыбаясь ещё шире, сказала она. – Мы... хорошо живём!.. Доктор... мы... не нарушаем!..

– Как это не нарушаете?! – сдерживая улыбку, строго сказал Глеб. – А из окна выбрасываться – это что, не нарушение?!

– А я... не вы... не выбрасывался!.. – пробормотал Фомичёв, безуспешно пытаясь завязать шнурки на ботинках. – Я же говорю... я... вы... вышел!..

– Что значит – вышел?! – с трудом сдерживаясь, чтобы не засмеяться, спросил Глеб. – Для этого дверь существует!

– Я... в магазин... опаздывал!.. – сказал Фомичёв, с большим трудом застегнув на ширинке верхнюю пуговицу и тщетно пытаясь застегнуть следующую. Илья не выдержал и засмеялся. Глебу стоило огромного усилия не захохотать, но он тем же строгим тоном сказал:

– Вы что, ненормальный?! Вы что же, значит, каждый раз, когда в магазин опаздываете, в окно выходите?!

– Это кто... ненормальный?! – спросил Фомичёв. – Это я... ненормальный?!.

Пуговица ни за что не хотела застегиваться, и он, как был, с незавязанными шнурками и незастёгнутой ширинкой, пошёл к окну. Когда Глеб поднял голову, Фомичёв уже стоял на подоконнике и открывал левую створку. Глеб и Илья вскочили со стульев, но ни крикнуть, ни сделать они уже ничего не успели: Фомичёв сделал шаг вперёд и провалился за окном.

У Глеба выступил на лбу холодный пот, в голове пронеслось: «Конец!», относившееся в равной мере и к Фомичёву, и к нему самому, на мгновенье он оцепенел. В этот момент раздался грохот – стул рядом с ним упал. Он обернулся и увидел, как Илья, смертельно побледнев и медленно оседая, заваливается набок. Он быстро подхватил его и встал рядом с ним на колени. Судя по всему, у парня был обычный обморок. Глеб приподнял ему голову и несколько раз хлестнул по щекам. Илья открыл глаза и стал приходить в себя. Глеб втащил его на стул и огляделся.

Нет, ему не померещилось: жена Фомичёва, все так же блаженно улыбаясь, по-прежнему стояла за стулом, на котором только что сидел Фомичёв, рубашка Фомичёва, поверх его пиджака, висела на спинке, окно было открыто, а Фомичёва в комнате не было. Похолодев и чуть не плача от бессильной злобы, Глеб бросился из квартиры. Лифт был занят. Не дожидаясь кабины, он помчался вниз, прыгая через три-четыре ступеньки и непонятно каким образом не ломая себе шею. Все

шесть этажей пролетели, как во сне.

Добежав до первого этажа, он обогнул лифт и, выскакивая к двери подъезда, заметил, что она открывается. Он затормозил, чтобы не сбить входившего, но, увидев его, остолбенел: в дверях, весь облепленный снегом, покачиваясь, стоял вечно живой и невредимый Виктор Фомичёв и бормотал:

– Это кто... ненормальный?!. Это я... ненормальный?!.



Анна Виноградова. «Зима в Кунцево». Тонированная бумага, масляная пастель. 18x30 см. 2019 г.

– А-а, Володечка, привет, солнышко, хорошо, что зашёл, а то я сегодня целый день дома, телевизор сломан, читать неохота, совсем обалдела! Есть хочешь?.. Сейчас котлеты поджарю, подождёшь, миленький?..

Татьяна ушла на кухню. Я от силы месяц как познакомился с ней, но уже знал чуть ли не всю историю её жизни, которой хватило бы не на один полнокровный роман, а теперь раз к разу узнавал некоторые любопытные подробности, которые имели и самостоятельную литературную ценность. Правда, корыстного интереса у меня не было, я ничего не записывал и записывать не собирался, полагая, что такой интересный материал, каким не только выглядела, но и была её жизнь, может понадобится и ей самой: в наших разговорах пару раз проскользнуло, что она имела какое-то отношение к литературе.

Она была экстрасенсом, причем экстрасенсом очень сильным, и, поскольку для меня эта сторона врачебной практики была совсем внове, я с жадным интересом слушал её рассказы, заставившие меня по-новому взглянуть на врачебную этику, на ответственность целителя, на жертвенность подобного врачевания и связанные с ним опасности.

Она любила рассказывать и могла говорить часами. Иногда в её воспоминаниях я улавливал ещё живые сожаления о прошедшем, о каких-то неоправдавшихся надеждах, неосуществлённых желаниях, несбывшихся мечтах. Она в юности занималась гимнастикой и стала мастером спорта – но из спорта ушла, писала стихи – и даже опубликовала одну или две подборки в «Юности» и издала тоненькую книжечку (была такая дебютная серия, кажется, «Молодые голоса», в бумажных обложках), но оставила и это, а занимаясь целительством, подорвала своё здоровье, и без того шаткое при её редчайшей болезни (плохая свёртываемость крови, что-то вроде женского варианта гемофилии), и сейчас уже не бралась никого лечить, лишь изредка занимаясь диагностикой. Любой порез заживал у неё неделями, любой ушиб вызывал жуткий кровоподтёк, и когда я это увидел, мой первый вопрос был о том, как же она могла заниматься гимнастикой с такой болезнью. «А я всегда ходила вся в синяках и кровоподтёках, – сказала она. – Я же тогда не знала, что у меня эта болезнь. А уж когда врачи обнаружили, что у меня нелады с кровью, поняла, что придётся гимнастику оставить; да и литература в тот момент все другие интересы вытеснила!»

Вот эти-то занятия литературой, о которых она глухо упоминала, меня больше всего и интересовали. Я видел в ней редко

*встречающуюся в наши дни гордость и понимал, что в подсоветской жизни заниматься литературой и публиковаться в каком бы то ни было виде, оставаясь человеком чести, ей было невозможно. Конфликт был неизбежен, и я подозревал, что у неё он состоялся и стал причиной отказа от этого призвания. В наш последний разговор она обмолвилась, что гимнастику оставила как раз перед поступлением в Литинститут, и я собирался на этот раз выяснить, удалось ли ей тогда поступить, а если удалось, то расколоть её на рассказ о том, почему она его не окончила.*

*Котлеты поджарились, мы перекусили, ответили друг другу на вопросы о здоровье («Ничего, потихоньку,» – обронила она.) и о том, как поживаем («Циклюю полы, никому не мешаю» – ответил я.), и я повёл подкоч.*

*– Ты в прошлый раз говорила о поступлении в институт. Так ты всё-таки поступила тогда или нет?*

*Татьяна улыбнулась.*

*– Я знала, что ты об этом спросишь!*

*– Что, мысли прочитала?!*

*– Да какие там мысли! У тебя и так все твои вопросы и интересы на лбу написаны! Я тебе всё равно собиралась про это рассказать... Давай заварим чай, я закурю и повспоминаю. Устраивайся поудобнее, а то я издалека начну...*

В восьмом классе Таня стала ходить в литературную студию, которую вёл в их физико-математической школе чуть ли не единственный оставшийся в живых приятель Маяковского Бромберг. Она была ни бум-бум в физике, зубрила десятки страниц наизусть, чтобы не оказаться в отстающих, а на контрольных ребята решали её варианты за неё, чтобы она не дай бог не провалилась и не ушла от них, – её любили и прощали ей физико-математическую тупость. Не стала её призванием и гимнастика: каникулы после девятого класса оказались последними, когда она ещё сколько-нибудь тренировалась. Тренер, обнаружив, что она выросла чуть ли не на три сантиметра и, значит, совсем обленилась, сказала, что так дело не пойдёт, с чем Таня согласилась – и, будучи к этому уже готова, гимнастику бросила.

Зато она писала стихи, и её стихи Бромберга заинтересовали. Он опекал её чуть ли не до самого конца школьной учебы, привел её в «Юность», посоветовал поступать в Литинститут, и десятый класс прошёл под знаком этого поступления. Она начитывала поэтическую классику, много времени проводя в Некрасовке, завела там на курительной площадке кое-какие знакомства, укрепившие её в мысли, что поэзия и есть её настоящее призвание, и летом не раздумывая

отнесла документы в институт, написав заявление на отделение поэзии. Это был самый конец шестидесятых, и она попала в класс Охамина.

В тот день, когда она узнала, что принята, они с подружкой, которая тоже поступила – в МГУ, – отмечали это событие у подруги дома, в Капотне. Домой она возвращалась поздно, и от «Площади Революции» ей пришлось идти пешком; чтобы не наломать ноги, туфли она сняла и надела бывшие у неё с собой тапочки. На Арбате, уже недалеко от её дома, из тени вышли двое парней, явно поддатых, и неожиданно схватив её под ручки с двух сторон, потащили в ближайшую арку. В первый момент растерявшись и несколько расслабившись, что, видимо, и ввело парней в заблуждение, будто она уже сдалась, на подходе к арке Таня резко вырвала правую руку и врезала тому, кто держал левую, – а надо сказать, что, несмотря на миниатюрность ее гимнастической фигурки, рука у нее была тяжёлая: гимнастки на тренировках иногда и до ста раз поднимают на руках свой вес. Парень выпустил Танину руку, потерял равновесие и упал, попытавшись расколоть головой бордюрный камень; второй сначала попытался снова схватить её, но, обнаружив, что его напарник не только не помогает ему, но и не встает, стал его поднимать, уговаривая не валять дурака. Тут кстати появилась милиция, травмированного увезли в больницу, а Таня объяснила, что произошло, показала свой паспорт, откуда милиционер списал её адрес, и ушла домой.

Вскоре её вызвали повесткой к следователю, потом ещё раз, и она с удивлением обнаружила, что следователь, поговорив с ней и сразу же получив отпор своим попыткам договориться о свидании, её сильно невзлюбил и превратил из потерпевшей в обвиняемую. Получалось, что она напала на двух ни в чём неповинных мужиков и то ли врезала одному из них кастетом, то ли ударила его головкой об асфальт, в результате чего он с проломленным черепом оказался в больнице. Второй мужик давал совершенно путанные показания, но следователя это не смущало, как не смущало и то, что оба они были пьяны и это было зафиксировано в протоколе.

Весь первый семестр прошёл для Тани под знаком этого преследования, и ещё неизвестно, чем кончилось бы это дело, если бы среди знакомств с курительной площадки Некрасовки не оказалось друзей Шутова, редактора 16-й полосы «Литгазеты». Тот позвонил приятелю с Петровки, и следователя мгновенно окоротили. В институте об этом узнали, когда дело было уже прекращено, и само участие Шутова в её судьбе, вероятно, только подняло Танин рейтинг на курсе и в деканате; впрочем, никто не надоедал ей ни упоминаниями, ни расспросами по поводу этой «драки».

Между тем и параллельно уголовной истории Таня «училась» поэзии у Охамина, и если все остальные предметы не вызывали у неё



никаких отрицательных эмоций, то эта «учёба» с каждым занятием оставляла ей все меньше надежды на благополучный исход. Охамин оказался омерзительным, злобным типом, самодуром и, в полном соответствии со своей фамилией, откровенным хамом; ему доставляло наслаждение измываться над своими студентами, оскорблять их, не скрывая своего к ним презрения. Из пятнадцати человек этого класса тринадцать были парни разного возраста со всего Союза – лесорубы, шофёры, демобилизованные – и две девушки, Таня и ещё одна. Девушек Охамин не трогал – то есть не оскорблял, но было ясно, что и это – до поры до времени; на ребят же во время этих охаминских экзекуций было жалко смотреть. Хотя его замечания по поводу их довольно средних стихов были во многом справедливы, тон его «критики» был мерзопакостен. «Это ещё что за насекомое вылезло?!» – презрительно вопрошал он, когда кто-либо из студентов пытался что-то объяснить или возразить.

Хотя Таня и оправдывала свою наблюдательную позицию тем, что, мол, они мужики и могут сами за себя постоять, а если не могут и терпят унижения, то это их личное дело, в глубине души она понимала, что само молчаливое присутствие при этих унижениях унизительно и для неё. Долго это продолжаться не могло.

Тем не менее она дотерпела до конца первого курса. Скорее всего, Охамин чувствовал брезгливость, с которой Таня наблюдала за происходящим в классе, и не рисковал в выражениях при оценке её стихов – тем более что стихи у неё с точки зрения профессионализма были на голову выше, чем у остальных. Но она стремительно росла, и к концу года уровень её поэзии стал вызывать у Охамина чувства, спектр которых располагался между глухим раздражением и явной злобой. В «Юности» её рост тоже был замечен, и журнал наметил её публикацию; она никому не говорила об этом, чтобы не сглазить – да и потому, что публикация могла в любой момент «слететь».

Сессия была сдана, оставалось только проставить оценки по «основному предмету», и Охамин вместо экзамена устроил «показательные выступления» перед известными поэтами: на чтение были приглашены Ахатуллина, Возведенский и Евдошенко. Накануне «экзамена» Охамин подозвал Таню и сказал, что она должна читать старые стихи (он сказал, какие) и ни в коем случае – новые. Таня сначала расстроилась, затем обозлилась и на «экзамене» прочитала те, какие сочла нужным и важным для себя прочесть – самые последние.

Компетентная «комиссия» сказала какие-то мало одобрительные слова про невыразительное чтение остальных студентов и в один голос, дружно похвалила Танины стихи. Похвалы были таковы, что Охамин не смог на следующий день «выпороть» её за непослушание, сделал вид, что всё было именно так и задумано и, тоже похвалив её, объявил, что у

неё по «основному предмету» пять, – это была единственная пятёрка в группе. Оставалось последнее занятие, на котором он должен был раздать зачётки и дать напутствие на каникулы. В промежутке между этими двумя занятиями и вышел номер «Юности» с Таниными стихами.

Когда Охамин появился в классе, в воздухе дохнуло грозой: таким злым его ещё не видели. «Я вас предупреждал, чтобы без моего ведома никто не смел публиковать свои стихи! – сказал он, не глядя в Танину сторону. – Если каждый будет мнить, что он поэт, и лезть во все дырки...» Понимая, что Охамин заведён и вот-вот непоправимо сорвётся, Таня встала и сказала: «Если речь идёт обо мне, то эту подборку стихов я отнесла в “Юность” ещё до того...» Как будто не слыша её слов и не обращая на неё внимания, всё больше наливаясь злобой, Охамин, оборвав её, снова завёл ту же песенку: «Я ведь вас предупреждал, чтобы вы не смели соваться в журналы с вашими паршивыми стихами...» Словно не слыша его последних слов, на пределе выдержки, Таня повторила: «Если речь идёт обо мне, то эту подборку стихов я отнесла в “Юность” ещё до того, как вы об этом предупредили...» И Охамин сорвался.

«А ты ещё куда вылезла, вошь на гребешке?!» – заорал он на неё. Реакция на оскорбления у Тани была автоматической. Она шагнула вперёд и врезала правой Охамину по физиономии. Удар был сильный, голова у Охамина дернулась; она увидела вблизи его полыхающие ненавистью глаза и поняла, что он сейчас её тоже ударит. Справа на тумбочке стояла фанерная коробка с отделениями для работ студентов – у каждого был свой «отсек»; Таня схватилась за неё, не собираясь ждать его удара, и Охамин, увидев это движение, бить не решился и сделал шаг назад. После секундной паузы в абсолютной тишине онемевшего класса он нашёл выход из положения и, схватившись за сердце, стал оседать, изображая сердечный приступ. Его подхватили и усадили на стул, кто-то сообразил, что надо вызвать «скорую» или хотя бы врача. Таня вышла в коридор и медленно пошла на улицу, решив посидеть на бульваре, покурить и подумать, придти в себя – на всякий случай, и так было ясно, что институт для неё кончился.

Успокоившись, она вернулась и направилась в деканат – забирать документы. В деканате её приходу не удивились, желанию забрать документы – тоже; в поведении секретарши она уловила сочувствие, видимо, Охамину здесь знали цену. Секретарша сказала, что декан просил её зайти, как только она появится. Декан пригласил её сесть и, пряча глаза и ни словом не упоминая о происшедшем в классе, сказал, что, может быть, не стоит забирать документы совсем, может быть, имеет смысл перевестись на заочное; оценки у неё отличные, с мастером, ведущим там поэтический класс, уже переговорили, он согласен её послушать; он сейчас заканчивает консультацию – и декан

назвал Тане номер аудитории, сказав, чтобы она зашла к нему после разговора с мастером и сообщила результат.

Таня решила пойти поговорить, а там и принять окончательное решение. Дождавшись, когда уйдёт последний студент-заочник, она вошла в аудиторию, поздоровалась с благообразным старичком, сидевшим за преподавательским столом – она знала его, много раз видела в институте – и сказала, что хотела бы перевестись на заочное, к нему в класс. Он ответил, что в курсе дела, попросил прочесть какие-нибудь стихи – немного, одно-два стихотворения, и, волевым усилием собрав разбегающиеся мысли и чувства, она прочла ему одно из последних стихотворений. Преподаватель прослушал его, улыбнулся, сказал, что стихи хороши и что он не возражает против того, чтобы она перевелась. «Я думаю, мы с вами будем жить в полном согласии», – сказал он и погладил её по коленке и вверх, по всей обнаженной мини-юбкой части ноги – и даже чуть выше. Танина правая непроизвольно дернулась вверх, её глаза встретились с испуганным взглядом старика – и она удержалась.

Она встала, спокойно вышла из аудитории и пошла на выход, решив, что за документами придёт как-нибудь потом. Во дворе она увидела «скорую»; врача не было, водитель сидел в кабине, читал книжку. Таня подошла к нему и спросила, не из-за сердечного ли приступа появилась здесь «скорая». Водитель удивлённо посмотрел на неё и сказал, что они из 15-й больницы и что на сердечные приступы они не ездят. Таня пошла домой.

Стихи она больше не писала.

*Я ошарашенно молчал. Я был готов ко всякому, но эта история и меня поразила. Про Охамину я и раньше слышал такое, что не оставляло сомнений в правдивости поведанного Таней; поэт Саша Горгия рассказывал мне, что в конце шестидесятых поступал в Литинститут, но, узнав, что попадает в класс к Охамину, забрал документы: мастер был известен своей глумливостью и подлостью. Но я знал кое-что ещё, чего могла не знать Таня: в 15-ю больницу я ездил сотни раз, там много лет периодически лежала моя сестра, и «скорая» из этой больницы во дворе института рассказала мне о последнем акте этой драмы поболее того, что рассказала мне Таня.*

*– Кстати, а как фамилия того похотливого старикашки? – спросил я, машинально накалывая на вилку кусок котлеты и задумчиво отправляя его в рот.*

*– Бюль-Регисталь, – ответила Таня, и я буквально подпрыгнул на стуле, чуть не поперхнувшись котлетой. – Володечка, солнышко, что с тобой? Надо поосторожней, так и подавиться недолго! Чем это имя тебя так удивило?*

– Ещё бы не удивило! – сказал я, изумлённо глядя на Таню. – Ну и имена у тебя: у одного – имя автора Гимна Молодежи Разных Народов, а у второго – автора Гимна Союза Свободных Республик! Вот уж поистине гимнюки!

– А я как-то даже и не обратила внимания, – задумчиво сказала Таня.

– Ты хоть понимаешь, что было бы, если бы ты и Бюль-Регисталю в морду въехала? – спросил я.

– Наверно, судили бы, – предположила Таня.

– Да нет, детка, судить бы тебя не стали, с тобой поступили бы иначе. И рассчитано всё было на реакцию твоей правой: в институте помнили ту историю с пьяными парнями, ты только что при свидетелях дала по морде Охамину, для которого объявить тебя сумасшедшей стало единственной возможностью сохранить лицо; зная же характер мастера, к которому тебя послали, и твой способ защиты чести и достоинства, можно было быть уверенным, что он полезет к тебе под юбку и тоже схлопочет по физиономии – а это уже тянуло на полноценную психушку. Проломить череп случайному прохожему и избить двух преподавателей Литинститута, да ещё таких всеми уважаемых, – чем не история болезни для психбольницы? На этот случай и была вызвана скорая: ведь 15-я больница – это «Кащенко»!

В тот вечер я уехал от неё под впечатлением этого рассказа – да и несколько следующих дней я то и дело вспоминал эту историю, пока не оформилось у меня в голове понимание того, насколько «судьбоносной» оказалась Танина литературная мечта: только такой юной, чистой и гордой девушке с чувством достоинства и пониманием чести истинного поэта дано было проверить нашивость наших знаменитых гимнюков. Тут не надо было ничего придумывать, и я дал себе слово, что я запишу эту историю сам, если Таня так и не соберётся это сделать. Я сдержал его – пусть и через 20 лет.